

## 17. ЧУЧЕЛО

В августе 2003 года я с женой и сыном проводили традиционную отпускную неделю в деревне Горск Березовского района, где меня всегда ждет осиротевшая после ухода родителей хата. Въезжаем на усадьбу, под яблони, выгружаем из машины нехитрый скарб. Протираем окна, полы, вворачиваем электрическую пробку, включаем холодильник — через часок хата оживает.

В середине дня на нашу усадьбу зашла молодая, странно, не по сезону тепло одетая женщина, поздоровалась по-украински, не стесняясь попросила одежды и обуви. Я с сожалением сказал, что ничего нет. Побирושка требовательно спросила: «А сало?» Сала мы с собой из Минска не привезли, кабанчика за пару дней в Горске не вырастили.

«То, можэ, хоть картопля е?» -- услышал настойчивый вопрос, в котором зазвучала ирония. «Нэма», -- сказал я правду. У нас имелось с десятков бульбинок от горской тетки Оли, а гостье из соседней страны требовалось не менее коша. Я видел, что она не поверила, что живу без картошки. Мне стало неловко. Действительно, что это за белорус без бульбы в хате? Пьяница, лентяй!

Чтобы как-то сгладить вину, я спросил женщину, откуда она. «Самарська», -- лаконично ответила побирושка и ушла, обиженная.

Ну, естественно, она из украинской деревни Самары, что в Ратновском районе, пограничном с Кобринским районом Беларуси. Откуда же ей быть! До деревни Самары от Горска напрямик, через леса и болота, будет километров пятьдесят, по окружной дороге, через Кобрин и Дивин, -- все восемьдесят.

Самары! Это слово в Горске настолько известно, что стало нарицательным. Мама рассказывала, что при Польше о человеке, с жадностью набросившемся на еду, в Горске говорили: «Голодны, як з той Самары». Об односельчанине, без видимых причин запустившем хозяйство и дом, у нас говорили: «Жывэ, як у Самары».

В пятидесятых-шестидесятых годах, как подтверждает моя детская память, побирושки из Самары нередко появлялись в Горске. Нашу деревню они облюбовали, наверно, потому, что она стояла на шоссе, была легкодоступной. Кроме того, почти столетие Горск с его единственным в регионе зарегистрированным молитвенным домом был баптистской столицей Березовского, Кобринского, Дрогичинского, Пружанского районов. Многолюдная верующая деревня была предрасположенная к милосердию, о чем и полетела международная молва.

Самаряне, как видим, приходят к горчакам за подаванием по сей день. За столетие сменилось столько властей, однако в деревне Самары общественно-социальная атмосфера остается без изменений. Уникальная деревня!

Феномен деревни-побирושки до того разжег мое любопытство, что в середине девяностых, зимой, я решил туда съездить. Дорога обозначена на карте: Горск-Кобрин-Дивин-Самары.

На неохраняемой границе с Украиной сносное белорусское шоссе, ведущее к югу от городка Дивин, как обрезало. Украинская дорога изобиловала колдобинами, ямами, лужами, глубокой колеей. Летом проехать на легковом автомобиле было бы непросто.

Справа и слева от дороги лежала заснеженная пустошь осушенных болот. Судя по их виду, заброшенных. Если бы они активно использовались в севообороте, то не поросли бы молодыми деревьями, а неочищенные каналы не наполнил бы до краев высокий камыш. Бессмысленность «мелиорации» роднит Украину и Беларусь.

Среди испоганенных болот, на возвышенностях, чернели хутора. На один из них, отъехав от государственной границы три километра, я завернул по мерзлой целине -- и очутился в другой цивилизации. Хутор был не огороженный, голый, неудобный, не обсаженный со всех сторон высокими деревьями, как в Брестской либо Гродненской областях. Не было солидного сада, обязательного для белорусского хутора. Пара яблонь, покосившихся от ветра, и неухоженные заросли вишни -- это несерьезно для настоящего хутора.

Посередине маленького огорода стояло раздетое чучело, видно было, что на ветру оно околело. Мне невыносимо захотелось внести его в сарай. А где же у них растет картошка? Гектар хуторской земли, не меньше, должен быть под картошкой. Тесный хутор, как этот, -- нелепица на земле. Как я ни вертел головой, картофельного поля не обнаружил, со всех сторон хутор подпирало неухоженное болото.

Хутор состоял из хатки, крытой рубероидом, и длинного, низкого сарая, крыша которого представляла растерзанный ком гнилой соломы, кое-как прижатой кривыми палками различной толщины и длины. В моем Горске уже полвека солома не используется как кровельный материал. А когда использовалась, примерно до пятидесятых годов, то соломка плотно связывалась в венички, три веника соединялись в плоский куль, а тот крепился к жердям (латам). Крыша получалась ровенькой, без помех скатывала воду, меньше гнила.

Хата и сарай украинцев располагались рядом, образуя общий двор, беспорядочно, словно временно, заваленный бревнами, колотыми дровами, кучами навоза, дырявыми корытами, ржавыми ведрами и кастрюлями... По двору, как по свалке, бродили куры, две равнодушные собаки, а также мужчина и женщина. Он и она маленького роста, моложавые, лет по тридцать пять.

На мужчине плотно сидела замызганная фуфайка, валенки с галошами доходили до колен. Шапка-ушанка была мала ему, натянута на голову с усилием, отчего сидела на макушке, опущенные уши ее карикатурно растопырились. Как увидел эту шапку, так и подумал про хозяина: не мог он купить шапку не по размеру, у кого-то выпросил.

Живописно выглядела и женщина миловидной внешности, черноволосая, под цветастой шалью, словно цыганка. На ней было сто одежек, и все -- с дырками, с висящими лоскутами. К тому же одежды ее не имели пуговиц, не застегивались, многослойно топорщились, делали женщину круглой, как капуста.

Чтобы оправдать свое вторжение в их хуторскую жизнь, я спросил, далеко ли до деревни Самары. «Тута! Наш куток -- самарськы», -- доброжелательно откликнулась женщина.

Чтобы удовлетворить свое любопытство, я сначала дипломатично сообщил, что живу в Беларуси, и только затем спросил, бывают ли они у нас. Мужчина ничего не ответил, только настороженно смотрел на меня. Женщина сказала, что «у Білорусі» она бывает, видела, что белорусы живут богато, что власть у нас хорошая, а на Украине плохая, про их хутор забыла. Про мужа добавила, что сидит дома, смотрит за хозяйством и детьми.

Я давно заметил, что не замерзшие окошки хаты облеплены любопытными детскими мордашками, их было так много, что не сосчитать. Бросились в глаза их приплюснутые к стеклу носы и расстегнутые рубашонки. Слава Богу, подумал я, в хате тепло.

Я поспешил распрощаться с хозяевами, устыдившись дальнейших расспросов. Тяжелая, нищенская жизнь хутора просматривалась, как на ладони. Меня захлестнула жалость к обитателям наспех слепленного «кутка», административно-географического угла, забытого между болотами, веками, государствами.

Бросив чучелу-сироте пожелание «держишься до лета!», я уехал. Точнее сказать, сбежал от своей профессии, чтобы не задавать людям бестактных вопросов.

В полукилометре от хутора, за сосновым леском, находилось ядро здешней хуторской галактики -- деревня Самары. Большая деревня, напоминающая белорусские местечки с оформленным центром, с главной улицей, универмагом, продмагом, аптекой, конторами сельсовета, колхоза.

На улице Самары я повстречал много людей трудоспособного возраста, что необычно для деревни в середине рабочего дня. Женщины стояли кучей возле магазина. Все одеты на манер знакомой хуторянки, -- многослойно, как капуста, однако без рванья. В столовой, куда я заглянул из любопытства, мужчины пили вино, шумно гомонили.

Никто никуда не спешил, кроме меня, чужака из другого племени. Украинцы привычно обитали в родном самарском углу, о нем, подозреваю, они готовы под рюмку спеть, как я, белорус, пою о своем, горском: «Мой родны кут, як ты мне мілы!..»

Уникальность человека заключается, кроме прочего, и в том, что он способен полюбить жизненный угол, вынуждающий нищенствовать. Зверь свой угол, который перестал кормить, покидает. Человеком же управляют местные традиции, социальная инерция.

В деревне Самары и окрест я не заметил природно-климатических препятствий для налаживания хотя бы такой жизни, скромной, но добротной, какая существует за пятьдесят километров, в такой же полесской деревне Горск, куда самаряне уже сто лет навдываються за подаянием.

Самарянка, летом 2003 года ушедшая от меня ни с чем, была, видимо, удивлена, а, может, и разозлена. В ее представлении, которое у самарян передается от поколения к поколению, у горчаков текут молочные реки в кисельных берегах. Традиция нищеты у самарян переросла в философию нищеты. Согласно этой философии, они уже не просят, а требуют у горчаков одежду, сало и картошку.

Миф о том, что «білорусы» живут богато, — составная часть самарского мировоззрения. Я не буду его разрушать. Как мы живем, мы знаем сами. Не смею учить уму-разуму и самарян, их жизнь есть их выбор, да и вряд ли долетит до них мое эссе. Хотя, повторю, замерзающего чучела жалко. Хороший хозяин чучело на зиму спрячет, а плохой — оставит в огороде. Впрочем, оба варианта взаимоотношений человека и чучела можно встретить и в Беларуси.

Феномен украинской деревни Самары — универсален, носит международный характер. Феноменальна власть местной народной психологии, следование которой для человека может стать важнее собственного достоинства. Повинуясь многолетнему опыту, самаряне, как я убедился, не стыдятся идти и просить.

Инертность группового (углового) сознания настолько сильна, что превратилась для мужчин и женщин в спасательный круг в бурном жизненном потоке. Сто лет деревня Самары побирается, но не исчезла, не обезлюдела, я воочию видел там демографический взрыв. Такой взрыв для вымирающих соседок — Украины, России, Беларуси — положительное явление.

Инфантильные побирушки Самары своей приспособляемостью к жизни вселяют в меня уважение к человеку с той же настойчивостью, что и рациональные, предусмотрительные горчаки-земляки.

В восьмидесятых годах в Горск пришел природный газ. Путь его был нелегкий, сквозь капризы больших и маленьких начальников, через непреодолимый долгострой. В прокладке трубы я участвовал журналистским словом, о чем горские мужчины вспоминают в подпитии, обещая поставить мне памятник. Газ — это освобождение от тяжелого труда по заготовке дров. Поднес горящую спичку — через полчаса дом теплый.

В хате сделались лишними громоздкая русская печь и отопительная печка (грубка). Лет пять после газификации они стояли на исконных позициях: печь — в кухне, печка — в чистой комнате. Люди не верили, что газ пришел в хату навсегда. Накопление дров не прекратилось, ими заполнялись сараи, пристройки, навесы. Людьюми управляла массовая психологическая установка на то, что начальники, как всегда, обманут, и газ в трубе иссякнет. А коль так, зачем ломать печь и печку, пусть стоят, кушать не просят.

Природный газ в хате — явление не только прикладное, но и эстетическое. В кухне, где ежедневно утром и вечером не горит печь, становится чище. Сверкает белизной газовая плита, а рядом — громадина-печь с закопченным зевом. Ну, красиво ли? Не красиво. Значит, печь надо ломать? А как жить без печи? Где удаются самые наваристые щи и самые румяные пироги, кроме печи? Где можно прогреть тело и душу, если не будет печи?

Перестройка в Горске по времени и сущности примерно совпала с горбачевской: в Горске перестраивали кухни, не ликвидируя русской печи, в СССР перестраивали общество, не ликвидируя компартии. Что вышло в итоге?

Печальную судьбу СССР вы знаете. Судьбу печи можно считать благополучной. Чтобы в газифицированной кухне было белым-бело, закопченную печь перенесли в специальные пристройки к хате или в отдельно стоящие будки. Там печь и продолжает свое служение: готовит щи, печет пироги, сушит грибы, варит картошку и тыкву для скота...

Во время перестройки в Горске родилось новое выражение: вынести печь. Можно было сказать про печь, что ее сломали, разобрали, выбросили. Нет, ее именно вынесли! Как будто бережно взяли на руки, подняли, осторожно вынесли в пристройку, поставили на новое место. Чувствуете, сколько уважения и любви народа в словосочетании — вынесли печь!

Психологическая установка диктует лексикон. Думаю, ни одна из горских печей не обиделась на людей. Дрова есть, огонь гудит, дымоход тянет, а больше работающая печь ни о чем не мечтает.

Иная судьба у печек-грубок. Этих не вынесли ни одной. Они остались там, где их поставили, когда строили дома. Поскольку печки не топятся, их используют как часть интерьера. Красиво выкрашенные, они служат перегородками, основанием для картин и календарей, на них вешают часы, занавески, рушники.

Словно нарядные невесты, печки в горских хатах символизируют ожидание. Невесты, конечно, надеются на лучшее, а печки ждут пакости. Печкам передалась традиционная уверенность народа в том, что от властей хорошее не исходит, а если исходит, то временно, значит, газ они обязательно перекроют. И этим горчаков не испугают, потому что печки в любой миг готовы к работе, а дров в запасе на много лет.

В Горске холодные, но красивые печки стоят в домах два десятилетия. В деревне Хидры Кобринского района, куда газ пришел раньше, печки ждут государственного подвоха свыше тридцати лет! И ведь могут дожждаться. В любой момент в ответ на какую-либо глупость белорусских управленцев Россия вздумает приостановить «голубой поток». Или газ настолько подорожает, что сделается для бедной деревни неподъемным.

И что тогда? Тогда горчаков и хидруков обогреет только их гениальное недоверие к власти. Над их хатами в ясный зимний день встанут вечные дымы. В их дверь постучатся побирушки-самаряне, по местной украинской традиции ожидающие от своей власти чуда, а от горчаков — картошки, будто она тут валится с неба.

Мама мне рассказывала, со слезами, как голодала. Это было в тридцатых, когда мой дед уехал в Аргентину на заработки, оставив в Горске жену с четырьмя детьми. За океаном больших денег он не нашел, семье помогал слабо, и она голодала. С двенадцати лет моя мама ходила вместе со своей матерью на заработки к зажиточным односельчанам.

Летом девочке доверяли жать серпом надрозорник. Розора — это заглубленная борозда между загонами, напоминающая канавку. Там ходили, как по тропинке, туда стекала с поля лишняя вода. Рожь над розорой росла ниже, реже, узенькую полоску называли надрозорник (по-полесски — надрозуорнык) и поручали жать неумелым девочкам-подросткам или слабым старухам. «Жну-жну, -- рассказывала мама, -- и думаю только про обед: ну когда хозяйка позовет жней есть кашу? Я свою кашу съем, как будто я из Самары, а мама свою оставляет до вечера. А она ж -- голодная...»

Вечером остатки холодной каши, похожей на блин, хозяйка разрезала на куски, отдавала жнеям. Моя бабушка, ее звали Ганной, была она баптисткой, несла кашу-блин домой, трем голодным сыновьям.

Чтобы не побираться, Ганна отправила малолеток на заработки в соседние деревни — пасти коров у богатых хозяев. А перед тем всю ночь молилась, в слезах просила у Бога, чтобы простил ее. За что? Наверно, за то, что на Него надеялась, а сама не плошала, выкручивалась как вьюн, тянула как вол, упиралась как лошадь. И не переставала молиться: каждое воскресенье -- в Горском молитвенном доме, каждый вечер -- перед сном.

Бабушка Ганна, мы с братом звали ее «бабка-любка», на коленях молилась в своем углу, а в другом углу Беларуси, в деревне Поречье Лидского района, подрастала девочка Тома. Однажды ее с одноклассниками повезли на экскурсию в Брестскую крепость.

Когда автобус въехал на территорию Брестской области, девочка заколотилась от страха. Она боялась, что сейчас автобус остановят, выволокут учеников и учительницу на обочину шоссе, где только что промелькнула табличка «Горск», и начнут мучить. Кто? Баптисты! Мучители-баптисты живут в Брестской области, о них девочке говорили в школе...

Пройдет время, она станет моей женой и полюбит Горск и горчаков так же, как я. Сейчас, после недоразумения летом 2003-го, когда вновь собираемся на родину, я прошу Тамару Николаевну: не забудь ненужную одежду, вдруг к нам во двор зайдут самаряне...

2004